

После запятой



Новое
Литературное
Обозрение

Собственное бессилие и привело меня в чувство. Но вело оно какими-то окольными путями, натываясь на стены и расшибаясь о наглухо запертые двери. Да и чувство оказалось сложным, или было сразу несколько чувств. Негодование, явно, — по отношению к ним. Еще жалость и отвращение к этому, то есть к ней. А бессилие — это тоже чувство? Или я теперь ничего не помню? Да, пожалуй, это чувство, и очень сильное. Ужасно неприятно смотреть, как они до нее дотрагиваются. Какое они имеют право так к ней прикасаться! А я ничего не могу сделать. Но и она сама не сопротивляется! Даже когда они бросили ее, как бездушный куль, на стол, такой голый и холодный, и начали раздевать. И главное, взгляды, которые на нее бросают. Пусть бы в них отражалось хотя бы то, что я к ней испытываю. Это, пожалуй, было б возмутительно. Зато их равнодушие просто невыносимо. Так на человека не смотрят. Знали б они, что я их вижу, пытались бы придать себе более приличный вид? Наверняка. Но друг перед другом им не стыдно. А меня

они почему-то не замечают. И мне не удастся ни заорать, ни ударить. Что-то здесь не то. Может, я во сне? И почему меня это так волнует? Есть в ней что-то беспокоящее. Когда-то все это уже было. Во всяком случае, я ее уже когда-то видела. И должна вроде бы неплохо знать. Вот эту родинку у нее на ноге... Но где? И как я здесь очутилась? Тоже не удастся вспомнить. Надо понять, что происходит. Я явно не в себе! Не в себе... То есть как? Вот и каламбурчик получился. Дешевый. Жаль, некому оценить. Так то, что на столе, я? Да, это, очевидно, мои ноги. Но я всегда видела немного с другого ракурса. Откуда же я смотрю? Спокойно. Подумай без паники и разберешься. Жужжит рядом, сейчас поймаю. Ну да, до этого бессилия было другое бессилие. То есть нет, вначале было белое пространство. Оно было такое полное, завершенное, и такое пустое — в нем настолько ничего не было, что долго так продолжаться не могло. Рано или поздно оно должно было определиться как совершенство. Которое не способно само по себе существовать, потому что всегда вызывает — от этого никуда не денешься — состояние блаженства. А это уж совсем недолго тянется — ведь за ним, или внутри него? или вокруг него? — возникает я. Я испытываю блаженство. Тут и началось самое мучительное. Я — это белое пространство? Если я, то что пространство? Если пространство, то где я? Что я? Где оно, когда я? И беспокойство постепенно нарастало, пока не превратилось в тревожный гул, который сжег белое пространство и разбил меня вдребезги. Может, удалось бы удержать это потрясающее безмолвие, если б не начавшиеся мысли, не знаю, но вернуть его было выше сил. Если быть взорванным противостоит

совершенству, то и ощущения при этом соответствующие. Это тоже не могло долго тянуться. И пришлось собирать себя по кусочку. Тяжкое занятие, особенно когда не помнишь, кто ты, а кусочки микроскопические, как пыль. И нельзя ошибиться ни в одной ячейке. Атом к атому. И если что неправильно — все разрушается, и приступай к работе сначала. Это хуже, чем больно. Правда, чем больший участок удается собрать, тем быстрее вспоминаешь остальное и легче достраивать. А под конец оставшиеся кусочки сами, без моего участия, разом взлетели и прочно установились на своих местах. В жизни такого не испытывала! Значит, я — умерла?.. Смешно, вот почему я возмущаюсь, что она не сопротивляется, хотя ясно, что это невозможно, у нее почти ничего не осталось от головы. И столько крови. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят. И туда же кинули кулон из розового камня, который он мне подарил. Не затерялось бы. Я так и не успела узнать, как этот камень называется. И что, теперь и не смогу узнать никогда? Не верю, так не должно быть! Они ее совсем раздели. Какая я стала худая в последнее время. Давно не смотрела на себя со стороны.

Ведь сейчас не первый раз. И раньше мне случалось смотреть на себя со стороны. Помню, лет в десять я поймала взгляд мальчика, которому нравилась, хотя и сидела к нему спиной и довольно далеко. Я вдруг с его места увидела себя, поправила юбку, некрасиво задравшуюся сзади, несколько раз поменяла позу, пока не убедилась, что оттуда я теперь смотрюсь в лучшем виде, и только тогда вернулась к себе, при этом так и не оглянувшись. И даже не сразу удивилась тому,

что мне удалось проделать. А еще раньше, лет в пять, я и не подумала, что произошло что-то необычное, когда увидела себя стоящей на пляже в красивом белом платье в горошек с белыми кружевными оборками и, минут пять полюбовавшись сверху, умилилась: какая славная маленькая девочка!

А года в два я как-то проснулась от дневного сна и вдруг вспомнила, что бабушка уже несколько раз укоряла меня, что я во сне сбрасываю одеяло и ей вечно приходится проверять, не раскрылась ли я. Решив подыграть, я начала быстро стаскивать одеяло с кровати, чтобы ко времени очередной проверки успеть прикинуться спящей. Одеяло оказалось на редкость тяжелым, и, только основательно повозившись, я легла обратно, удивленная, что мне удается справляться с ним, когда я сплю. А бабушка все не шла, и я вдруг увидела крохотное существо среди неправдоподобно огромной мебели. Я даже не догадалась, что это — я, и заснула от холода и одиночества. Проснулась уже укрытая. А когда бабушка пришла, я спросила лукаво: что, я и сегодня раскрывалась, чтобы потом расхотаться и сказать, что на этот раз я нарочно? А она мне говорит: нет, сегодня ты у меня молодец, спокойно спала. В два года спросила? А что, я прекрасно помню. Я же рано начала говорить. Они даже на магнитофонную ленту записали, когда я в год и два месяца рассказывала сказку, дословно копируя взрослых. Со всеми их интонациями. Так что я спросила, и она ответила. Это был первый раз, когда я не знала, как быть, не понимала, как же теперь жить дальше. Но мне всегда удавалось жить. Может, попробовать и сейчас? Ведь было еще много происшествий, когда я выходила из

себя. Потом никогда не составляло труда вернуться. Ну да! И жить с этим лицом? Только не это! Я даже не смогу на себя смотреть.

Вспомнила. Желтый свет, меня ослепили. Я как раз собиралась свернуть на боковую улицу, только развернула руль и не могла сориентироваться, с какой стороны та машина. Желтый свет оставался в глазах, я больше ничего не видела. Меня подбросило, и лязг металла. Что там дальше было? Не помню. Может, и к лучшему. Наверное, было очень больно. Пока я тут мечтаю, эти вроде собрались удалиться. Я что, тут одна останусь? Проскочить за ними, пока дверь не закрыли? Все, не успела. Хотя куда я сейчас пойду? Хорошо, что накрыли простыней, а то смотреть тошно. С головой накрыли. Значит, впрямь умерла. Навсегда? Недаром это слово меня пугало. Произнесешь его вслух раза два, с закрытыми глазами, все вокруг исчезает, наплывают черные душевные волны, окутывают с головы до ног, подхватывают и уносят в бездну. Стоп. Не думай о страшном. Успеешь еще. Нашла время и место. Тебе тут всю ночь торчать. И на простыню не смотри. Самое жуткое было бы посмотреться в зеркало. Сдохнешь от страха. Теперь уже до конца. Откуда они это знают, если никогда не умирали? Почему они завешивают зеркала при покойнике? Интересно, что я увидела бы? Все, думаю о другом. Сейчас подумаю. О чем-нибудь приятном. Сейчас. Если я умерла, почему никто за мной не приходит? Ангел какой-нибудь или дьявол на худой конец. Все ж лучше, чем ничего. И где обещанные туннели? Я с радостью улетела бы куда-нибудь. Что, мне самой теперь думать, что дальше делать? Просто вынуждена сама что-то делать. Стоило самозабвенно выстраивать

себя по крошке, чтобы получить в награду собственный труп. Лучше бы я там осталась, где не было ничего.

Теперь понятно, что значили слова: каждый умирает в одиночку. Со смертью приходится справляться прямо как с жизнью. Никакого отдыха. Вот так теряешь последние иллюзии. Я совсем не такой представляла смерть. У меня же был опыт. Вот когда я, например, тонула. Сколько мне было тогда — четырнадцать? Купалась в озере и заплыла далеко, не умея нормально плавать. И на обратном пути, решив, что пора встать на ноги, не ощутила дна. От усталости и страха не удавалось плыть дальше. Сил едва хватало, чтобы удержаться на плаву. А на помощь позвать их уже не было. Наконец на меня обратил внимание какой-то человек с берега. Он привстал, вопросительно глядя в мою сторону, — расстояние было совсем небольшое от берега, но шел отвесный склон, — и в ответ я смогла выдавить только вежливую улыбку. Она его успокоила на довольно долгий срок, пока он не ощутил странности происходящего. После того, как и на его крик: тебе помочь? — я отреагировала все той же улыбкой, он все-таки бросился в воду. Я расслабилась и сразу пошла на дно. Настроившись на боль и страх, приятно удивилась, оказавшись в мерцающем царстве. Оно неуволимо отличалось от моего нынешнего белого пространства. Я стала одним из вспыхивающих огоньков и так увлеклась загадочным танцем с ними, что, когда далеко, на другом конце Вселенной, возникло легкое покалывание, до меня с трудом дошло, что меня тащат за волосы. Вот когда я негодовала! И никакой благодарности. Я тогда подумала, что этот переливающийся белыми искрами покой и есть смерть.

Было что держать про запас. Но потом уверенность, что смерть именно такая, со временем пропала. Я просто перестала думать об этом, иначе не раз могла прибегнуть к этому выходу.

Был еще случай — я тогда страстно хотела умереть, но сама не решалась ничего предпринять. В результате в тяжелом состоянии попала в больницу, на „скорой помощи“. Дней десять меня активно лечили, но без толку. Моя палата находилась напротив дежурного пункта медсестер, и в промежутках бредовых провалов я с гордостью ловила: бедная девочка, — не жалец. А какая молодая еще! Что это — ко мне, не вызывало сомнений, мои сопалатницы успели оповестить меня, что я единственная трудная больная на всем этаже. В ожидании смерти приходилось довольствоваться забытием, благо оно становилось затяжным. В очередной раз я вышла из него оттого, что кто-то назвал вслух мое имя. Мужской голос, страшно знакомый, справлялся обо мне у медсестры, и я принялась мучительно вспоминать, кому он принадлежит. Сестра, недавно сделавшая мне укол, заявила, что я сплю, и вообще не в состоянии ходить, и в нашем отделении посещения запрещены. Голос продолжал настаивать, переходя на умоляющие интонации, и медсестра сдалась, заявив, что исключение делает лишь потому, что по режиму больницы настало время прогулки и в отделении никого нет. Действительно, палата была пустая, одна я не ходила на прогулку. Спустя время медсестра осторожно просунула голову в дверь и сообщила, удивившись, что я бодрствую: «Там тебя какой-то мужчина спрашивает. Я попросила подождать на лестничной площадке, тут нельзя. Сможешь дойти? Или

сказать, чтоб уходил?» — «Какой мужчина?» — «Откуда я знаю? — рассердилась она. — Ну, что ему сказать?» Любопытство пересилило апатию — слишком голос был близким, но не получалось определить владельца. Я кивнула, что пойду, и, отвергая помощь, по стеночке двинулась к концу коридора. Распахнув дверь на лестницу, я увидела своего дедушку. Слишком давно с ним не встречалась, немудрено, что не включила его в список возможных обладателей голоса. Я настолько ему обрадовалась, что невесть откуда появились силы, и я приготовилась изобразить надлежащую сценку: приятная родственная встреча. Но он с таким пониманием спросил: «Плохо тебе?», что, отбросив все напускное, я с облегчением ответила: «Да, очень». — «Хочешь, пойдем отсюда?» — «Куда?» — «К нам. Там тебе будет лучше». Лучше, чем у бабушки, мне нигде не бывало. «Как там бабушка?» — «Хорошо. Ждет тебя. Ну как, пойдем?» Бедный, проделал ради меня такой долгий путь, в его-то годы! А я думала, что меня больше никто не любит. Как я могла забыть о них? Надо было сразу ехать к ним, а не мечтать о смерти. «А как же лечение?» — не совсем уверенно откликнулась я. Теперь, когда стало ясно, что у меня есть они, не очень хотелось умирать. С той же убеждающей добротой в голосе дедушка ответил: «Ну что тебе дало это лечение? Видишь, они тебя никак не могут вылечить. Зачем мучиться зря дальше? С бабушкой тебе сразу станет хорошо. Правда, она просила не забирать тебя раньше времени, но я вижу, что тебе тут несладко». Начав спускаться за ним по лестнице, я спохватилась было: «Надо сказать медсестре, что я ухожу». — «Зачем? Начнется волокита, уговоры. Решила уходить, так

пойдем». Я стала спускаться, глядя под ноги, и вдруг нечаянно поймала его взгляд из-за плеча. Очень нехороший — так смотрят на ребенка, когда, протягивая ему ложку с горьким лекарством, приговаривают: «Пей, деточка, очень вкусно, я сам пробовал». И я вспомнила, что он умер. «Так ты меня туда зовешь?» — «Да, а что тут такого? Тебе же очень плохо, а там будет хорошо, можешь мне поверить». — «Нет, я туда не пойду, я уже передумала», — сказала я нерешительно, боясь обидеть. — «Как знаешь. Я же не тащу тебя туда насильно. Здесь ты уже измучилась. Решай сама». На меня неизвестно откуда накатила ярость. Если б он сказал мне правду сначала, я могла и согласиться, откуда я знаю. Но терпеть не могу, когда меня обманывают, даже если на пользу. «Нет!» — крикнула я, забыв о приличиях, и пулей взлетела по лестнице, не попрощавшись. Единственно странное во всей этой истории было то, что коридор нашего отделения оказался вдруг небывало длинным. Я мчалась по нему изо всех сил целую вечность, а он все тянулся и тянулся. Прошло лет сто, пока я не увидела вдали сидящую за столом сестру. Я перешла на тихий ход, чтобы не напугать ее, хотя сердце готово было выскочить из горла. Почти переигрывая в тяжелобольную, я доплелась до своей палаты. Прикрыв дверь, рухнула на койку и накрылась с головой, не раздеваясь. Сердце продолжало бешено стучать, и колотил озноб; наверно, это агония, подумала я и провалилась куда-то. В момент пробуждения сознания я все вспомнила и была уверена, что очнусь там, то есть здесь, но оказалась там. Сестра пришла мерить мне температуру, которая, как выяснилось, со своих птичьих высот упала до человеческой. С этой

минуты дело пошло на поправку, как пишут в романах. Я тогда не решилась спросить у той сестры о своем посетителе. И только при выписке, набравшись духу, поинтересовалась, помнит ли, как ко мне в самом начале болезни приходил пожилой мужчина, и получила ответ, которого заранее страшилась: «Откуда я всех упомяну, к кому кто ходит?!» Но, прочитав отчаяние в моих глазах, она более сердечно поинтересовалась: «Какой-какой, говоришь?» Я описала. «Да, припоминаю. Ты тогда еще лежачей была, но я не могла его пустить в палату, инфекция всюду ходит. Меня бы с работы сняли». И вдруг, тревожно: «А кто он такой? Что он тебе сделал?» — «Ничего-ничего! Это был мой дедушка», — обрадовалась я, ввергнув ее в окончательное недоумение.

Я только сейчас подумала — а ведь продолжала все это время обижаться на деда — вдруг он нарочно меня разозлил, прекрасно зная мой характер. Как мне теперь узнать? Если бы вспомнила раньше, спросила бы у тебя. Ты один мог бы сказать на это что-нибудь вразумительное. Интересно, о чем ты думаешь в эту минуту? Беспokoишься? Ведь я к тебе ехала. Прошло, должно быть, не так уж много времени. Наверное, ты уже звонил мне домой, а там никто не отвечает. Может, позвонил моим друзьям, и они ничего не знают, ответили, что я давно выехала. Скоро вы все узнаете. Ну почему это со мной случилось? И почему именно сейчас? Это несправедливо! Я только-только начала заново ценить жизнь. Я же собиралась столько хорошего сделать. Честное слово! Если бы все вернуть, как бы по-другому я жила! Я бы всех любила. И себя тоже. Хоть бы это было наказанием, уроком. Я все

ли сохранить способность видеть? И покурить нельзя. Но и то хорошо, что не до конца умерла. Впрочем, в этом я почти никогда не сомневалась. Я сейчас должна уметь передвигаться невидимкой — скажи еще, что ты об этом не мечтала. Знать бы только — как? Ладно, потом разберемся. Может, встречу еще с какой душой — так ведь я теперь называюсь? — пообщаемся, — не я же одна сегодня умерла. Думается, вместе мы сообразим, как быть. Своего Вергилия я вряд ли заслужила. А у тебя был такой усталый вид. На самом деле это было или нет, я все равно чувствую, что ты обо мне думаешь сейчас. Во всяком случае, меня эта мысль греет. Холодно зато лежать на голом кафеле без одежды. Даже стены и пол из сплошного кафеля. Надо додуматься, чтобы оставить человека одного среди этой каменной бездушности. Я вспомнила? или представила? — но очень живо, — когда я рождалась, был этот же кафель. Меня положили на него после всего, что мне пришлось пройти. Я была вся в крови, как недавно, и меня оттирали такой же колючей мокрой губкой. Я относилась к своему уютному существованию, как к должному, пока не появилась первая угроза. Это было чудовищно. Ни с того ни с сего, без малейшего повода с моей стороны, доброжелательный, казалось бы, мир вдруг взбунтовался. Тогда я впервые почувствовала, что я и мир — это не одно и то же. Вначале на меня просто стало давить со всех сторон, и я в панике старалась сохранить равновесие. Потом меня завертело в необъяснимом бешенстве, больно сжимало со всех сторон, крутило и рвало, где-то раздавались страшные крики — не мои, — но я знала, что это такое, они тоже раздирали меня, все ополчилось против,

пока тупые боли не заслонила одна острая. Она была мною, она была всюду — по всей коже, в ушах, в глазах, в легких, в животе — называя, я узнавала и обретала. Тогда боль в ушах и в животе превратилась в мой собственный вопль, в коже — в покусывание холодной губки, а в глазах — в этот тяжелый желтый свет — почему он меня преследует? Кто-то грубо держал меня за ноги на весу. И я ужасалась, как бы не уронили. Я понимала, что происходит, куда потом все это делось? Я тогда знала и то, что понимание скоро исчезнет, и не только оттого, что начали появляться предвестники потери сознания — все эти шумы и туманы. И я поспешила напоследок выкинуть шутку, как теперь — и тогда — мне ясно, вполне в моем духе. Хотя мне было неуютно и неприятно в новом теле в новом измерении, я собралась с силами и обвела всех присутствующих пристальным взглядом. Потом взглянула на маму — я знала, что это она меня родила — потому что она единственная лежала и еще почему-то, не помню, — и подмигнула ей одним глазом. На большее у меня не было возможностей. Мама мне потом рассказывала об этом, еще она говорила, что все после моей выходки расхохотались, а врач заявила: «Ну, эта точно будет академиком», но мне уже было не до них, я не запомнила. Меня снова положили орать на кафедру и занялись мамой. С каждым новым криком я теряла последние остатки сознания, я чувствовала это, но не могла остановиться. Вопли вырывались и уносили меня с собой. Я растворялась, растворялась, растворялась... Опять эти не мои ужасные крики. Не прислушивайся к ним, там нехорошо. Не могу, они меня вытягивают к себе. Что это? Мама!